

Борис Верхоустинский

# Лесное озеро



# Борис Алексеевич Верхоустинский

## Лесное озеро

### Аннотация

«На высокой развесистой березе сидит Кука и сдирает с нее белую бересту, ласково шуршащую в грязных руках Куки. Оторвет – и бросит, оторвет – и бросит, туда, вниз, в зелень листвы.

Больно березе, шумит и со стоном качается. Злая Кука! Но Кука думает: я ее сперва немножечко раздену, посмотрю только, что у нее за берестой, а потом я ее одену опять. И вовсе не больно березе – какой там! Просто хитрит, притворяется, потому что тело у нее некрасивое, кирпично-желтое, хоть наряд-то и белый...»

# Борис Верхоустинский

## Лесное озеро

На высокой развесистой березе сидит Кука и сдирает с нее белую бересту, ласково шуршащую в грязных руках Куки. Оторвет – и бросит, оторвет – и бросит, туда, вниз, в зелень листвы.

Больно березе, шумит и со стоном качается. Злая Кука! Но Кука думает: я ее сперва немножечко раздену, посмотрю только, что у нее за берестой, а потом я ее одену опять. И вовсе не больно березе – какой там! Просто хитрит, притворяется, потому что тело у нее некрасивое, кирпично-желтое, хоть наряд-то и белый.

Тут Кука вспоминает, как весной береза плакала вкусными слезами. Надо попробовать. Кука впивается острыми зубами в кору ствола, но на языке одна горечь. Береза не хочет плакать вкусными слезами.

Кука настораживается. Кто-то сел на верхушку березы. «К-к-к-кар! К-к-к-кар!» Ага, это ворона! Зачем она прилетела? Тс-с-с! Она чистит клюв и стучит, как дятел. Вот бы ее поймать! Какая ловкая, прилетела неведомо откуда, а расселась, что барыня.

Кука возмущена и лезет по веткам вверх, к тому месту, где птица. Та близко подпускает ее к себе и смотрит на нее страшными черными глазами: чего от нее хочет Кука, не со-

бирается ли она изловить ее, старую ворону, и переломить темные ножки, на которых так удобно скакать по дорогам.

«К-к-к-кар! К-к-к-кар!» – передразнивает ее Кука. «К-к-к-кар! К-к-к-кар!» – недоумевающе отвечает ворона; обе недовольны, обе недружелюбны.

– Дура! – вспыхивает гневом Кука, – воронища!

И, отломив от березы сухой сучек, бросает его в ворону. Ворона с ругательством улетает.

Кука торжествует: что, чья взяла! То-то!

Береза шумит одобрительно: молодчина Кука, так и следовало поступить с незнакомкою.

...На ясной поляне певучая тишина. Предвечернее солнце щедро золотит листву кряжистой березы, а ветер, смело прошедший сквозь лес и кустарники, поет тихо и радостно.

Кука шепчет:

– Чу!.. Чу!..

Это значит: кто-то издалека пробирается по лесу, ели сцепились хвойными руками и не пропускают его, а угрюмые осины бьют его по лицу тонкими ветками. Но разве могут его остановить хвойные руки елей и ветки осин? И напрасно вокруг него собирается можжевельник: все минет идущий издалека, он даже не соблазнится красотой Иван-чая, он не наклонится и за незабудками.

Кука радостно шепчет: «Чу!.. чу!» – и закрывает глаза.

Солнцем обожжено и ветром обвеяно лицо Куки, оно темно-медное, и руки у нее темно-медные, и ноги, обнаженные

до колен, тоже загорели в неустанном движении. Бродит Кука полями, аукается в лесах, а в болотах пробирается с кочки на кочку к диким ягодам – морошке, бруснике и костянике. Есть когда загореть и обветриться.

А рваный ситец – платье Куки – выпачкан засохшею глиной, засмолен янтарною смолой сосен.

– К-к-к-кар! К-к-к-кар! – раздается испуганный возглас вороны. Кука открывает глаза и от неожиданности чуть не падает наземь. С высокого неба камнем спускается белый кречет; ворона, сидящая где-то в лесу, пронзительно каркает, но какое дело белому кречету до серой птицы с черствым телом и пахнущим падалью сердцем, – паря в сини небес, он увидел на вершине березы темно-медную птицу, – о, правда, она необычна, велика и со странными перьями, но белый кречет отважен и голоден камнем упал он с сини небес и вдруг, заметив свою ошибку, мечется в сторону.

– К-к-к-кар! К-к-к-кар! – в ужасе каркает из лесной чащи ворона, белый кречет спокойно сидит на ветке сосны, весь белый, как снег, но с черным надменно загнутым клювом и с могучими темными когтями. «А что, когти у тебя не железные?» – думает Кука, и хочется ей самой стать такую же белую птицей, и так же спадать с высокого неба, и так же горделиво сидеть на ветке сосны. Но прекрасное видение исчезает: буйный взмах крыльев – и уже нет кречета на краю ясной поляны, и уже ясная поляна скучна.

Кука быстро слезает с березы; лазает она ловко, то повис-

нет на руках над шелестящею листвою, то, как белка, перепрыгивает с ветки на ветку, внизу же, сажени на две, береза гола, – Кука обхватывает ее руками и ногами, чтобы сползти по стволу наземь.

Новость! – Кука нагибается: у ее ног два братца подберезовика, один, большенький, крепыш с коричневой головкой, другой, поменьше, еще совсем дитя, ножка тоненькая, шляпка бледненькая – недавно вылез из темной земли. Однако, и хитрюга же эта береза – пока Кука сидела на ней, она родила двух ребеночков... Проворная! Впрочем, может быть, Кука проглядела их, когда на нее взбиралась.

Кука задирает подол своего платья, так что ее тело обнажается до пояса, и кладет братцев в подол. Ну, что же, придется и еще поискать, а то им вдвоем, пожалуй, скучно.

Она идет с ясной поляны в лес. В лесу дятел долбит сухостойное дерево: «Тук-тук! Тук-тук!» Кука знает его, он красивый, искристый, многоцветный, с длинным клювом, кропотун, каких мало. Уж не думает ли он починить все засохшие деревья, и не для того ли вытаскивает из них жучков и червячков? Напрасная работа – сухое дерево все равно упадет и станет гнилушкою.

Вдруг Куку схватывает невидимая рука и настойчиво тянет вправо. Наверное, ох, наверное, где-нибудь под березой притаился гриб, видит Куку, но не может сказать, чтобы она подошла к нему и вырвала его из прелой земли.

Кука сворачивает направо. Батюшки! Так и есть: под елью

сидит красноголовый подосиновик. Конечно, сидеть под колючею елью, в полутьме, не очень то приятно. Кука срывает его и кладет в подол.

Грибы наперерыв просят, чтобы она их обрала. Куку тянет то туда, то сюда; подосиновики, подберезовики, волнушки, моховики, важные и толстобокые боровики настойчиво зовут ее к себе. Все они разные – иной уродился маленьким уродцем на кривой ножке, другой простудился, распух, состарился. Ну, его-то, старого хрыча, в подол не надо брать, чтобы не заболели и другие.

Мимоходом Кука встречается с полчищем муравьев. Около двух пней раскинулись высокие муравейники, друг от друга они шагах в двадцати. Конечно, находясь в столь близком соседстве, как не проложить дорогу. Вот муравьи и проложили ее и засновали взад-вперед, из одного города в другой. Идут они туча-тучею, купцы, солдаты, рабочие, нищие, богомолки, пьяницы... Тот надрывается над тяжелым бревном – сосновою иглою, тот тащит камень-песчинку, а там сцепились два драчуна, прохожие толкают их, сердятся на них, а они знай, угощают друг друга зуботычинами.

– Ай! – вскрикивает Кука, вскакивая с корточек. Она подумывала было разорить один муравейник, чтобы посмотреть, как подымет суматоха, и как заспешат муравьи утаскивать желтенькие яички, – но муравьи храбрые, один солдат влез на ее ногу и ударил ножиком, страсть как сделалось больно.

Кука ловит маленького обидчика и убивает его. Зачем дерешься? Тебя трогали?

Подвергнуться еще раз такому укусу Кука вовсе не намерена. Она уходит к ручью, журчащему невдалеке.

Между высоких берегов протекает извилистый ручей, звенит, балуется с камнями, пересмехается, – между высоких берегов, на желтом песке... Сосны и темные ели и узловатые березы слушают его безумолчные песни, а ему и любо – сверкает под солнцем, пенится, убегает вдаль, к студенному озеру.

Кука спрыгивает под обрыв и садится на землю, спустив ноги в ручей. Эва, как прильнул, обрадовался! Уже так-то ему, светлому, хочется смыть с них всю грязь, все соринки, все мусоринки, что кипит, ворчит и торопится – а вдруг, дескать, Кука уйдет, и он не успеет обласкать ее вдоволь.

Но Кука сидит смирнехонько и думает. И думает она длинные, широкие думы: отчего деревья растут? Почему птицы поют? Кто повесил на небе солнце? Где живет леший и чем кормится?

– Кха! Кха! – гремит за ее спиной. Кука оборачивается – никого, но кто-то стоял совсем рядом и покашливал.

Она притворяется, что ничего не расслышала, и опять смотрит в безостановочный ручей.

– Кха! Кха! – повторяется кашель за ее спиной. Кука сердится. Ну, кто там, что ему надо от нее? Почему прячется?

– Ты кто? – спрашивает Кука, не повертываясь к кашля-



ющему.

– Ты кто? – звонко и насмешливо откликается эхо.

– Да, кто ты?

– Да, кто ты? – передразнивает эхо.

Кука видит, что разговоры излишни, и замолкает, но только что принимается за длинные широкие думы, как кашель за ее спиной возобновляется. «Леший!» – в ужасе соображает Кука: «он меня хочет съесть».

Она мгновенно вскакивает на ноги, грибы вываливаются из подола в ручей и уплывают, но Куке не до них, она несется стрелой по крутизне берега. По ее пятам гонится огромный мужик, весь обросший шерстью, с здоровенной дубиной в руке. Кука не видит его, но знает наверняка, что он за ней гонится и что он такой страшный на вид. Леший! Конечно, леший!

Весь лес ополчается на бегущую Куку. Ветви бьют ее по лицу, травы сплетаются вокруг ее ног и норовят уронить на землю, с сосен сыплются шишки, ольшаник непролазною стеной становится на ее пути, а в босую подошву вонзается заноза. Изнемогая, Кука замедляет бег, но странно леший ее не убивает, хотя он, должно быть, совсем – совсем настиг, совсем рядом.

Кука начинает сомневаться: да правда ли? Может, и лешего-то нет... Солнце, чай, еще не закатилось, а лешаки гуляют больше по ночам. Тогда они кричат, пищат по ребячьи, аукаются.

Кука смело останавливается и, на всякий случай крепко сжав свои маленькие кулаки, поворачивается лицом к мужику с дубиной. Так и есть – его и в помине нет... Глупая, глупая, зря занозила ногу...

Прихрамывая, она продолжает свой путь шагом... Деревья редуют, сейчас будет озеро. Она окончательно успокаивается, – и как это можно было испугаться лешего... Ф-футы! Лешаки же всегда озорничают по ночам.

А вот и озеро. Лес обрывается, внизу серебрятся спокойные воды. Слабые волны лениво наползают на прибрежный песок, шуршат тростниками, певуче плещут и отползают обратно в свое спокойствие.

Озеро большое, противоположный берег теряется вдаль; когда бывают туманы, даже смутных очертаний его не видеть. Белые чайки носятся над светозарной равниной, то нырнут в нее, то взметнутся высоко-высоко, серебристая чешуя пойманной рыбы блестит в черном клюве окрыленной рыбачки.

Кука выходит на прибрежный песок, босые ноги оставляют на нем глубокие отпечатки.

Пылающее солнце низко повисло над озером и протянуло к нему бесчисленное множество лучей. Ни тучи, ни облачка на неомраченном небосклоне.

Кука отеняется ладонью от солнца и всматривается в даль. На озере чернеет челнок.

– Де-да! – радостно кричит Кука...

Сидящий в челноке рыбак не слышит ее крика. Тогда она снимает с себя платье, обматывает его вокруг головы и смело входит в камыши.

На добрые полверсты залегла с этого берега песчаная отмель, Кука долго идет, но вода не добралась и до пояса. Книзу ногам очень холодно, там бьют студеные ключи, питающие подземною влагой лесное озеро, но наверху, согретое солнцем, оно тепло.

Когда скрываются в воде маленькие груди Куки, идти тяжелей, озеро выталкивает Куку, ключевые потоки норовят сбить ее с ног, закружить и унести к безднам, но она упорно борется и отважно пробирается вперед. Неожиданно почва ускользает из-под ее ног, – Кука дошла до конца отмели, дальше страшная глубина. Отлично! Теперь Кука поплывет.

Она плавает по-лягушачьи, вздымая руками и ногами тысячи сверкающих брызг, и кричит:

– Де-да!

Рыбак в челноке, под ласковым солнцем, не слышит ее. – Хорошо же, Кука напугает его, она подплывет к челну и раскачает утлое суденышко.

Кука старается плыть бесшумно, чтобы привести проказу в исполнение. И любо ей, что под нею неведомая глубь, в которой бог весть что скрывается. Может быть, она плывет над дремучим лесом, где рыскают невиданные звери, и где на ясных полянах растут прекрасные цветы. Незаметно для самой себя, Кука приближается к челну. Ах ты, миленький

деда! Сидит на скамеечке, сжал старческими губами потухшую трубку и храпит, а у ног его лежат размотанные сети. На деде широкополая соломенная шляпа, пестрядинные порты и ситцевая рубаха, не то серая, не то желтая, так выщвела, что и не разобрать. Милый деда!

Кука ухватывается за корму и начинает ее раскачивать, но – нет! Жаль будить деда, лучше сделать так: сесть на нос и потихоньку увести старичка к берегу. То-то будет смеху.

Кука влезает в челнок, берет весло и гребет к берегу, к тому месту, где стоит их избушка. Кука живет вдвоем с дедом, сторожащим лесные уголья одного великого и всемогущего человека, которого дед зовет Генералом. Леса и поляны, ручьи и озера, птицы и рыбы – все принадлежит Генералу, он сильнее лешего, водяного, шишиг, кикимор и белого кречета. Кука боится ужасного Генерала, да оно и понятно: Генерал, должно быть, высоченный – превысоченный, выше берез и сосен. Когда ему хочется есть, он съедает сто коров и запивает сотнею ведер ключевой воды, а потом, как медведь, уходит в свою пещеру и спит там без просыпу сто суток.

Кука в раздумье подгребает к берегу. «Ш-ш-ш!» – шуршит тростник, раздвигаемый челном. Челн врезается в песок и с легким толчком замирает.

Нагая Кука выскакивает на берег, поспешно надевает на себя платье и, как ни в чем не бывало, уносится по тропинке к избушке, перёд которой держится на сваях.

В избушке Кука садится на скамью, против окна, и прини-

мается выковыривать дедовым шилом из ноги занозу. Морщится, хмурится, потому что больно, но вытащить надо, а то нога распухнет и нельзя будет бегать.

В самый разгар неприятной работы дверь избушки открывается, на пороге показывается дед. Он что-то бормочет себе под нос, чем-то смущен...

– А ты, дедо, уж приехал? – равнодушно спрашивает его Кука, вцепляясь ногтями в занозу и вытаскивая ее.

Дед недоумевающе крикает:

– Кхе!.. Приехал... Хмы...

А я поспала малость, а опосля стала избу подметать, да и занозила ногу... Много ли нарыбачил?

Дед бормочет:

– Приехал... Экая ведь оказия, и поди ж ты...

– А что, дедо? – невинно спрашивает Кука, – али улов мал, али сети порвались?

Дед садится на лавку.

– Кука! – торжественно возглашает он, – а меня того, водяник увел с лога.

Кука делает изумленные глаза:

– Ой, что ты, дедо? Ой, родный!

Дед испуганно рассказывает ей, как было дело. Ловил, значит, он на уху рыбку, вдруг – откуда ни возмись водяной. Ох, и рожа же! Взглянуть страшно, мордатый, носатый, весь в водорослях и с когтями. И стал водяник гнать лодку напрямиком к берегу, гнал, гнал, а у деда язык словно присох, ска-

зять слова не может. До самой стоянки довел водяной челн, а потом скрылся.

– Да ты, може, спал, дедо?

– Спал! – обижается дед, – как же. А почем ты, Кука, чашешь, что спал я? – настораживается хитрый старичок.

– Да ты же, дедо, горазд почивать любишь, – спокойно отвечает Кука и кстати рассказывает, как за ней недавно гнался по лесу леший, весь в шерсти, с здоровенной дубиной. Тем и спаслась, что перекрестилась.

Дед подозрительно взглядывает на нее:

– А ведь ты лгуша, Кука. Кабы лешего повстречала, так давным бы поведала мне. А, Кука?

Кука усмехается:

– А и врун же ты, дедо, – челн-то я сама пригнала, а ты дрыхнул.

Дед краснеет:

– Я ж тебя, Кука, потреплю за уши. О, вольная!

Он сердито набивает трубку махоркой и уходит из избы.

Кука звонко хохочет ему вслед, потом бежит за ним и схватывает за руку:

– Дедо, ладно же, чего серчаешь, милый?

Дед останавливается и выговаривает ей:

– Плохо так делать, плохо, за это на том свете не похвалят!

Раздосадованный и обескураженный, он уходит дорыбачивать.

Кука возвращается в избу, смотрит в окно, уехал ли дед,

лезет на печку, сбрасывает оттуда мирно дремавшего черного кота и слезает обратно, прижимая к груди тряпичную куклу, в засаленном платье, с тряпичною головой и с грязными тряпичными ногами, из которых правая длиннее левой. Это безволосое и беспалое существо называется Доча Манечка.

– Доча Манечка! – спрашивает ее Кука, – что ты делала без меня? Тебя кот не кусал, не царапал?

Доча Манечка молчит, глупо упершись в Куку нарисованными глазами.

– Ну, что же, Манечка? – пожимает плечами Кука, – тебя не обидел кот? А-а?

Доча Манечка хочет что-то вымолвить, но не может: вместо рта у нее красная черта, заменяющая губы, эта черта никогда не размыкается, чтобы показать белые зубы и говорливый язык.

– Манечка! Я тебя посажу на лавочку к окну, а ты мне говори правду: что кот тебя без меня не обидел?

– Обидел! – вздыхает куколка.

– Ой, Манечка, да как же он тебя обидел?

– Оцарапал! – жалуется кукла.

– А где же он тебя оцарапал?

– А за ухом! – всхлипывает кукла, в горе соскальзывает с лавки на пол, шлепается о него и замирает.

Кука поспешно поднимает ее, смахивает приставшие к ее платью соринки, гладит ладонью ее лысую голову, сажает ее опять к окну и гневается:

– Вот как! Значит, обидел... Поцарапал без меня... Негодник! Ну ж, я ему покажу! Ой, покажу!.. Ты чего ее поцарапал? – топают она ногой, спрашивая черного кота, лениво облизывающего свою шерстку.

Кот притворяется, что ничего не понимает. Ах, какой хитрый, какой озорной!

– Ты зачем ее оцарапал? – допытывается Кука, – отвечай же, слышишь?

Упрямец не отвечает.

Делать нечего, приходится его наказать, чтобы впредь было неповадно.

Кука вытаскивает из-под печки старый веник, выдергивает из него несколько прутьев и ударяет ими кота. Тот, видя, что ему не миновать порки, начинает мяукать, но Кука безжалостно его хлещет.

У кота шуба толстая, ему совсем почти не больно, но все ж таки он орет на всю избу, точно его режут.

– Не царапай! Не царапай! – приговаривает Кука. Кот фыркает и бросается обратно на печь.

Довольно наказания! Кука кладет прутья на шесток, берет безмолвную Дочку на руки и, сидя на лавке, убаюкивает ее:

«Баю-баю-баюшки!

Баю-баю-бай!

Баю-баю-Манюшки,

Баю-баю-бай!»



Она баюкает Манечку до тех пор, пока у нее самой глаза не слипаются. Доча Манечка спит около ее груди с открытыми глазами. Обе слышат тихую песню, звучащую издалека, и обеим так радостно в дремоте.

И вдруг, с легким скрипом в петлях, дверь открывается, входит Иван-царевич, тот самый о котором дед рассказывал Куке зимними вечерами, когда выла вьюга, а вьюге подвывали изголодавшиеся волки.

– Девочка! – печально говорит Иван-царевич Куке, – ты одна? А где твой батько с мамой?

Но, ведь, батько с мамой давным-давно померли... И чего только не привидится во сне...

– А, девочка! – повторяет Иван-царевич, – где тятко твой?

Кука вздрагивает. Это не сон! В самом деле, перед нею Иван-царевич, в красной рубахе, в картузе с блестящим козырьком, в высоких сапогах, кудрявый, широкоплечий и исхудалый. За спиною у него длинное ружье.

– У меня тятки нет, помер с мамою, а дедо рыбачит на озере.

Иван-царевич скидывает ружье с плеча и ставит его в угол.

– А как твое имя?

– А Кука же!

– Чудное имя... Ты, стало быть, язычница, мордовка, али черемиска?

– Да нет же – недоумевает она, – мое имя, сама выдумала,

допреж того дедо Настею величал, только я ему не велела.  
Я – Кука!

Иван-царевич садится на лавку рядом с ней и смотрит в окно светлыми очами. Из окна видать и озеро, и закидывающего мережки деда.

– Хорошо у вас тут, – со вздохом отворачивается от окна Иван-царевич, – умирать не захочется, а все ж таки придет смерть – и умрешь, не пикнув.

Кука согласна: очень хорошо.

– Так вот что, Кука, ты бы накормила меня, потому что я голоден.

Кука спрыгивает с лавки, вынимает из стола каравай черного хлеба, отрезает здоровенный ломоть, потом отодвигает в печи заслонку, поддевает ухватом горшок с ухой, ставит его на стол и протягивает Ивану-царевичу деревянную ложку, да не ту, с коей хлебает дед, а свою, рисунчатую.

– Выкушай, родной, я еще за молочком сбегаяю.

Иван-царевич усаживается на табурете и, не перекрестясь, начинает жадно хлебать. Господи, Боже мой! Как он голоден и какой худой, видно, давно ходит по лесам, притомился, сердечный, отошал.

– А ты откелева? – любопытствует Кука.

Иван-царевич усмехается:

– Издалека, Кука, издалека.

– А откелева?

– Из города. Бывала, чай?

Нет, Кука не бывала в городе, но дед говаривал, что там людей, как берез в лесу, только лжет он, обманывает, не может то быть.

– Может, Кука, может! – тихо говорит Иван-царевич, и Куке кажется, что он вот-вот сейчас расплачется, такие у него скорбные глаза.

– А ты кто?

– Я рабочий с бумагопрядильни. Убежал я... Неделю иду, а лесу, почитай, и конца нет. Да, Кука, а лесу, почитай, и конца нет.

– А почему ты убег из того города? – допрашивает, Кука. Иван-царевич смотрит за окно на озерную ширь и отвечает, отодвигая от себя горшок с ухой.

– Надо было, Кука, шкуру свою уносить. Одна шкура у человека, да и ее содрать норвят. Много нас было, остался я один, кого расстреляли, кого перевешали, а кого в тюрьму запихали за засовы тяжелые. А я в лес убежал, Кука, и иду я теперь – куда глаза глядят. Порох весь вышел, нету ли у вас пороху да дроби, а то с пустым ружьем идти по лесу не рука.

Кука проворно лезет под широкую деревянную кровать деда, находит там две медные сулейки с порохом да с дробью – подает Ивану-царевичу.

– А у тебя ружье совсем пусто?

Иван-царевич усмехается, и усмешка у него волчья, а не человеческая. Куке страшно, она пятится к двери, но, дойдя до порога, останавливается.

– Нет, Кука, у меня ружье не пустое, сидит в нем сироти-нушка пуля свинцовая, как лихой человек восхочет сироти-нушку избидеть, она – глядь! и выскочила.

Кука улыбается:

– Бери же, бери пороху да дроби, больше насыпай, у деда и пули есть, на волка готовлены. Постой, я тебе их дам...

Она снова лезет под кровать и подает Ивану-царевичу пули, завернутые в тряпицу.

– На, родной.

Иван-царевич пересыпает Кукины подарки в какие-то жестяночки, а она стоит и любитесь им. И черные брови, и скорбные очи, и исхудалое лицо и весь он – с ног до головы – такой задумчивый, тихий и ласковый, что от радости и от радостной печали Куке хочется заплакать навзрыд. Экий желанный! Упал белым кречетом с синих небес – как упал, обернулся царевичем.

Кука алеет, что маков цвет. Что бы сделать отрадное для царевича...

– Подожди, я тебе молочка принесу.

Она уходит из избы в погреб, где стоит молоко. В погребе сыро, темно и холодно, но она не торопится из него выйти, долгое время она сидит на ступеньке ослизлой лестницы, о чем-то тревожно думая, и только когда вспоминает, что без нее может прийти в избу дед, торопливо схватывает кринку и несет Ивану-царевичу.

– Испей, родной, молочко утрешнее, со сливками.

– Ишь ты! – говорит Иван-царевич, – у вас и корова есть?

– Белочка есть, беленькая вся...

– Ладно живете вы. Ну, спасибо тебе, Кука, пойду дальше.

Ежели придут люди и станут обо мне спрашивать, говори: – и не проходил, и не видывала.

– Прощай же! – говорит Иван-царевич, крепко пожимая ее маленькую руку.

– Прощай! – печально отвечает ему Кука.

Он вскидывает ружье за плечо и выходит из избы. Кука слышит, как гремят его сапоги по тропинке. Маленькая душа изнывает и мучается, словно жжет ее лютый огонь, – душно в избе, нелюдимо – очень несчастна одинокая Кука.

... Она схватывает со стола каравай, бежит из избы на тропинку, догоняет Ивана-царевича. Тот останавливается, молча, принимает от нее каравай. Он даже не говорит ей: «спасибо!» да она все равно и не услышала бы, так как несется обратно к избе, словно стыдясь своей выходки.

Иван-царевич исчезает в лесу. Тихим шепотом встречает вечерний лес странника. Поют птицы среди зеленой листвы, папоротник раскинул у темных елей свои зеленые звезды. При пении незримых птиц, при ласковом шорохе дремлющей листвы проходит Иван-царевич, наступая на зеленые звезды.

А раскаленное солнце уже до половины окунулось в спокойное озеро, – и челнок деда, и сам дед и дедовы снасти залиты золотом!

Кука смотрит из окна на закатывающееся солнце. По его полукругу – снизу вверх и сверху вниз безостановочно всходят и нисходят какие-то светлые бестелесные существа. Снизу – вверх, сверху – вниз, снизу – вверх, сверху – вниз. Так всегда бывает при безоблачном закате.

Кука схватывает Дочу Манечку с лавки и закидывает на печку. – Ну ее! – противная рожа с бессмысленными глазами и нераскрывающимся ртом. Когда-нибудь Кука отнесет ее в лес и положит на вершину муравейника – пускай ее заедят муравьи: Доча Манечка даже плакать не умеет.

Куке тоскливо. Она садится на тот табурет, на котором сидел Иван-царевич, она хлебает уху, хотя ей вовсе не хочется есть, хлебает тою рисунчатую ложкой, которая была у Ивана-царевича. Она думает о Иване-царевиче. Где он? Бредет какими тропами? Или он, скрывшись из виду, ударился оземь и снова обернулся белым кречетом и воспарил в сини небес? Но что же он сделал тогда с караваем черного хлеба? Неужели оставил его под какою-нибудь елью?

В избу входит вернувшийся с рыболовства дед.

– Давай, Кука, ужинать, а то есть охота.

Кука подает деду его ложку.

– Давай, только хлеба нету.

Дед удивлен:

– От-так раз, да неужто ж ты, Кука, все поела?

Кука молчит.

– А?

Кука молчит.

– А ты что же, Кука, словно бы не в себе? Словно бы и без языка вовсе...

– Отстань, дедо, али забыл, как поутру хлеб доели.

– От-так раз! – «поутру доели»! – да там целешенький каравай был. Едино утро – и каравай... Ты чего-то врешь, Кука.

Кука негодует:

– Ой, дедо, я ж тебе говорю правду. Сам догрыз последнюю горбушечку. Что ты, родной, памяти в тебе нету.

Дед недоверчиво ворчит:

– Може, и взаправду говоришь...

Он доедает уху, раздевается и, раздетый, долго на коленях молится темной иконе, висящей в углу избы. Вздыхает, нараспев читает молитвы, кладет земные поклоны и кряхтит, Кука смотрит на озеро. Оно потемнело, так как солнце скрылось, а в открытое оконце вползает вечерняя сырость, коегде на берегу коростели уже подняли свою скучную и скорбную трескотню.

– Кабы завтра улов был хорош! – говорит дед, залезая на кровать, под лоскутное одеяло.

Кука его обнадеживает:

– Будет, дедо, хорош... Увидишь. А Расскажи-ка ты, дедо, об Иване-царевиче. Где он теперя, не умер ли?

– Умер! – отвечает дед, – не иначе, а то, чай, его и совсем не было, потому – сказка, выдумка.

Кука усмехается. Какой глупый этот дедко, говорит, что

Ивана-царевича нету, что умер он, а она с ним совсем недавно речь вела и каравай на дорогу ему подарила.

– О, Господи! Господи! – вздыхает дед, зевая и истово крестя рот.

– Дедо! – а тебе умирать скоро?

Дед сердится:

– Типун те на язык, Кука.

Но Кука сама знает:

– Ой, дедо, скоро... Уйдем, дедо, из лесу в город. Умрешь как, будешь молчать, страшенный, да желтый, что мамка, а я реветь стану... Боязно, родный дедо, куда я тебя тогда дену.

– А на жерлицу наживкою прицепи, пушай рыбки мясцом побалуются, мне-то все равно, а им – праздник.

Куку не смешит ответ деда:

– Ой, милый, страшно... Уйдем же!

Дед ее утешает:

– И полно, и нашла о чем тужить, ложись-ка спать лучше.

Но Кука не хочет спать.

Выходит из избы, спускается по тропинке к челну, спихивает его и гребет на середину озера. А на озере уже гуляют седовласые туманы, в самую чашу их врзается челнок Куки и в них теряется.

В небе же повис, как чудесная ладья, серебряный месяц. Кто сидит в той ладье и кто правит – неведомо Куке.

– Ау! – кричит она.

Туманы раздаются, пропуская звонкий крик к лесистому



берегу.

– Ау! – отзывается леший в лесу.

– Ау! – голосисто подхватывает другой леший.

И снова смыкаются седовласые туманы.

– О-ой! – кричит Кука.

Звонкий крик, как зов белогрудой чайки, опять раздвигает туманы, опять лешие дразнят Куку:

– О-ой!

– О-ой!

В самую лодку наползают они, седые туманы, оседая холодной росой на платье, на русой косе, на обнаженных руках одинокой Куки.

– Кто ты? – кричит она...

– Кто ты? – переливчатым хохотом хохочет с берега леший.

– Кто ты? – стонет тихо и жалобно другой береговой леший.

И опять туманы смыкаются, и только струится спокойная вода у носа челна, только неустанный коростель выводит свои грустные песни, его песни будто лязг отбиваемой косы, а сам он потерян в траве и туманах.

И крепко почиют озерные глубины, где скрыты диковинные леса, и где поют диковинные птицы. И хочется Куке прыгнуть туда, может, там повстречает она Ивана-царевича.